

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Памяти великого русского певца Александра Пирогова И в городе падал лист. С лип – желтый, с тополей – зеленый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополевый лежал кругами возле деревьев, серея шершавой изнанкой. И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, тоже сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало. Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала. Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Чем прибранней становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженность и обиду. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные слушания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку: – Не отросла еще? Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него: – Что вы сказали? И, непривычно распаяясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче, с вызовом: – Нога, говорю, не отросла еще? Врачи и медсестра, заполнявшая карточки, подняли головы, но тут же вспомнили о деле, усерднее принялись выстукивать и выслушивать груди и спины инвалидов, а медсестра подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое, и если он, ранбольной, выпивший или просто так побуянить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 02 – и будь здоров! Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет и дело оформит. Нынче смирно себя вести полагается. Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя сделала бы это с охотой, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы. Она шевельнула коком, сбитым наподобие петушиного гребня, заметив, что инвалид тут же сник, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть. И взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скудный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и пациенты складывали одежду на стулья и на пол. – Можете одеваться, – оказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полкой халата. Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу, он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, разостланной меж столами. Так он и попрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович, лишившись противовеса, боялся – не шатнуло бы его и не повалил бы он чего-нибудь, и не облил бы чернилами белый халат врача или полированный стол. До угла он добрался благополучно, опустил на стул и глянул в залу. Врачи занимались своим делом. Он понял, что все это им привычно и никто ему в спину не смотрел, кальсонины не заметил. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу. И когда Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и подошел к столу за справкой, врач все еще писал. Он оторвался только на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не захотелось. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить. Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых инвалидов – вымирают инвалиды, исчезает боль и укор прошлых дней, а распорядки все те же. И сколько отнято дней из без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, проверками, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях. Врач поставил точку, промокнул голубой промокашкой написанное и поднял глаза. – Что ж вы стоите? – И тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: – Писанины этой, писанины... Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город надетую, кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, а потом торопливо стянул ее и молча поклонился. Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками – что, мол, я могу поделать? Такой закон. Догадавшись, что он привел в замешательство близорукого молодого врача, Сергей Митрофанович тоже вымученно улыбнулся, как бы сочувствуя врачу, вздохнул протяжно и пошел из залы, стараясь ставить деревяшку на невыношенный ворс дорожки, чтобы поменьше брякало, и радуясь тому, что все кончилось до следующей осени. А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни. На улице он закурил. Жадно истянув папироску "Прибой", зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе за срыв свой и за дальнейшее свое поведение. "Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо – и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, – то ли? Так и горы сносят. Рвут!.." До поезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе "Спутник", купил две порции сосисок, киселя стакан и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых клеточек и полосок. В кафе кормилась молодежь. За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, припивала чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. "Ишь, как у нее все ловко выходит!" – подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел. Девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому. С потолка кафе свисали полосатые фонарики. Стены были голубыми, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы – тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад. "Красиво как! Прямо загляденье!" – отметил Сергей Митрофанович и поднялся. – Приятно вам кушать, девушка! – сказал он. Девушка оторвалась от книжки, мутно посмотрела на него. – Ах, да-да, спасибо! Спасибо! – и прибавила еще: – Всего вам наилучшего! – Она тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке. "Так, под книжку, ты и вола съешь, не заметишь!" – с улыбкой заключил Сергей Митрофанович. Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках, открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя. А по улице все кружило и кружило легкий желтый лист липы, и отвесно, с угрюмым шорохом опадал тополиный. Бежали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребятишки шли с сумками из школы, распинывая листья и гомоня. За полдень устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил себе билет и устроился на старой тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами "МПС". С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок с корзинами, с модными сумками и кошелками. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки – не разобрать сразу. В корзинах у кого с десятком грибов, а у кого и меньше. Зато все наломали охалки рябины, и у всех были от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк. "И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?" – подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся – все ангина мучает, а потом сердце, или почки, или печень – уж бог знает что – болеть начинает. "Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит", – говорит ему жена и облепить в делах пытается. При воспоминании о жене Сергей Митрофанович, как всегда, помягчал душой и незаметно от людей пощупал карман. В кармане пиджака, в целлофановом пакете персики с рыжими подпалинами. Жене его, Пανε, любая покупка в удовольствие. Любому подарку рада. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. "Экая диковина! – скажет. – Из-за моря небось привезли?" Спрячет их, а потом ему же и скормит. В вокзале прибавилось народу. Разом, и опять же толпою, во главе с пожилым капитаном пришли на вокзал стриженные парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Сергей Митрофанович подошел к краю, освобождая место подле себя. Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, сумочку с ляжками. Вроде немецкого военного ранца сумка, только неукладистой и нарядней. Сверху всего багажа спортивный мешок на коричневом шнурке бросили. Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один высокий, будто из кедра тесанный. Он в шерстяном спортивном костюме. Второй – как вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее: видно, чуба ему доставало. Третий небольшого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась зареванная, кудреватенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку. Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он с гитарой был и, видать, верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер спускавшемся. У свитера воротник, что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки: одна из них, догадался по масти Сергей Митрофанович, сестра Еськина, а остальные – ее подруги. Еськину сестру ребята называли "транзистором" – должно быть, за болтливость и непоседливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в тонкой розовой кофточке, под которой острились титченки, не отпускаясь от него и, как в забытьи, по делу и без дела твердила "Славик! Славик!..." Среди этих парней, видимо, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. Остался у него еще малинового цвета шарф, одним концом за брошенный за спину. Лицо у парня переменчивое, юркое, кепочка надвинута на смысленные цепкие глаза, и

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru

Сергей Митрофанович сразу определил – это блатняшка, без которого ну ни одна компания российских людей обойтись не может почему-то. Капитан как привел свою команду – так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтоб можно было все видеть, а самому оставаться незаметным. Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивая слезы, а ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато. – Новобранцы? – на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович. – Они самые! Некруты! – ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: – Володя, давай! Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни с девчонками грянули: Черный кот, обормот! В жизни все наоборот! Только черному коту и не везе-о-о-от!.. И по всему залу вразной подхватили: Только черному коту и не везе-о-о-от! "Вот окаянные! – покачал головой Сергей Митрофанович. – И без того песня – погань, а они еще больше поганят ее!" Не пели только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась. К "коту" с усмешками, правда, присоединились и родители, а "Последний nonешний денечек" не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводины прежних лет. Мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта. Ребята и девчонки перешли на какую-то вовсе несуразную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки заперебирали ногами, парни запритопывали. Чик-чик, ча-ча-ча! Чик-чик, ча-ча-ча!.. Слов уж не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой песни, изверченной наподобие проволочного заграждения. Все смеялись, разговаривали, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку, и когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо. Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не вступал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, приложился тот, в кепке. Пить из горлышка умел только он один, а остальные больше дурачились, болтали поллитровку, делали ужасные глаза. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика от питья покатились слезы. Он разозлился и начал совать своей девушке бутылку. – На! Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется. – На! – настойчиво совал ей Славик поллитровку. – Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... – залепетала девушка, – я не умею без стакана. – Дама требует стакан! – подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица. – Будет стакан! А ну! – подал он команду блатняшке. Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея и вынул из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре "Виола" женщина походила на кого-то или на нее кто-то походил? Сергей Митрофанович засек глазами Володину деваху. Она! – Сыр съесть! – отдал приказание Еська-Евсей. – Тару даме отдать! Поскольку она... Она, она не может без стакана!.. Этим ребятам все равно, что петь и как петь. Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице. – Ску-у-усна-а! – завопил блатняшка. Громко чавкая, обсасывал он сыр с пальца, выпачкал шарф и понес все на свете. – Ну, ты! – обернулся к нему разом взъерошившийся Славик. – Славик! Славик! – застучала в грудь Славика его девушка – и он отвернулся, заметив, что капитан, хмурясь, поглядывает в их сторону. Блатняшка будто ничего не видел и не замечал. – Хохма, братва! Хохма! – Когда поутихло, блатняшка, вперед всех смеясь, начал рассказывать: – Этот сыр, ха-ха... банку такую же в родилку принесли, ха-ха!.. Передачку, значит... Жинки, новорожденные которые, глядят – на крышке бабка баская, и решили – крем это! И нама-а-аза-лися-а-а!.. Парни и девчонки повалились на скамейку, даже Володина барышня колыхнула ядрами груди, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотился под налипшим подбородком. – А ты-то, ты-то ч? в родилке делал? – продираясь сквозь смех, выговорил Еська-Евсей. – Знамо, ч?, – потупился блатняшка. – Аборт! Девчата покраснели, а Славик опять начал подниматься со скамейки, но девушка уцепилась за полу его куртки. – Славик! Ну, Славик!.. Он же шутит... Славик снова оплыл и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно и ловко порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло. Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу. Володя выпил половину стаканчика и откусил от шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у носа своей барышни. Она жеманно морщилась: – Ты же знаешь, я не могу водку... Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к переносью. – Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское!.. Он не убирал стаканчик, и деваха приняла его двумя длинными музыкальными пальцами. – Мне же плохо будет... Володя никак не отозвался на эти слова. Девушка сердито вылила водку в крашенный рот.

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru

Девчонки захлопали в ладони. Сеструха Еськина взвизгнула от восторга, а Володя сунул в раstorенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре. "Э-э, парень, не баские твои дела... Она небось на коньяках выросла, а ты водкой неволишь..." Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик и робко попросила: – Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! – Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать, будто ребенка. "Ах ты, птичка-трясогузка!" – загоревал Сергей Митрофанович и поднялся со скамьи. Стянув кепку с головы, он сунул ее под мышку. Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, совсем осоловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но неосновательно, балуясь, а придет время, схватит Еську-Евсея какая-нибудь жох-баба и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от прокательства и гибели. – Что ж, ребята, – начал Сергей Митрофанович и прокашлялся. – Что ж, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. – И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали остатки сыра. Он даже крикнул якобы от удовольствия, чем привел блатняшку в восхищение: – Во дает! Это боец! – и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: – Ногу-то где оттяпало? – На войне, ребята, на войне, – ответил Сергей Митрофанович и опустился обратно на скамью. Он не любил вспоминать и рассказывать о том, как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался, что объявили посадку. Капитан поднялся с дальней скамьи и знаками приказал следовать за ним. – Айда и вы с нами, батя! – крикнул Еська-Евсей. – Веселя будет! – дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор. – Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж нами нету!.. "Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старшине не управиться было бы. Они его одним юмором до припадков довели бы..." Помни свято, жди солдата, жди солда-а-ата-а-а, жди солда-а-а-та-а-а. Уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь модная барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая Володиным спортивным мешком на шнурке, почувствовал Сергей Митрофанович – если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми. Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел. Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему. – Куда же вы, батя? – крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас. В киоске он купил две бутылки заграничного вермута – другого вина никакого не оказалось, кроме шампанского, а трату денег на шампанское он считал бесполезной. Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил пальцами газету, и опять просматривал весь вагон, и ни во что не встречал. – Крепка солдатская дружба! – гаркнули в проходе стриженные парни, выпив водки, и захохотали. – Крепка, да немножко продолговата! – А-а-а, цалу-уете-есь! Но-оч коротка! Не хватило-о-о! И тут же запели щемяще-родное: Но-чь ко-ро-тка, Спя-ат облака-а... "Никакой вы службы не знаете, соколики! – грустно подумал Сергей Митрофанович. – Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы". Но старая фронтовая песня стронула с места его думы и никак не давала сосредоточиться на одной мысли. – Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? – Сергей Митрофанович приостановился, будто в лесу, прислушался. – Тута! Тута! – раздалось из-за полка, с середины вагона. – А моей Марфуты нету тута? – спросил Сергей Митрофанович, протискиваясь и тесно запруженное купе. – Вашей, к сожалению, нет, – отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения. – Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... – с приступком поставил бутылку вермута на столик Сергей Митрофанович и прислушался, но в вагоне уже не пели, а выкрикивали кто чего и хохотали, бренчали на гитарах. – Зачем же вы расходоались? – разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме блатняшки, который, конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, а шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято. – Во дает! – одобрил он поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку. – Сейчас мы ее раскур-р-рочим!.. – Штопор у кого? – перешибая шум, крикнула Еськина сестра. – Да на кой штопор?! Пережитки, – подмигнул ей блатняшка. Он, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку, пальцем просунул пробку в бутылку. – Вот и все! А ты, дура, боялась! – Довольный собою, оглядел он компанию и еще раз подмигнул Еськиной сестре. Он лип к этой девке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же щипнул ее, обрезала: – А ну, убери невымытые лапы! И он убрал, однако значения ее словам не придавал и как бы ненароком

то на колено ей руку клал, то повыше, и она пересела подальше. На перроне объявили: "До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба пассажирам..." Сергея Митрофановича и приبلудного парня оттиснули за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей обхватил сеструху и ее подруг, стукнул их друг о дружку. Они плакали, смеялись. Еська-Евсей тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика, повисла на нем и вроде бы отпустить не собиралась. Слезы быстро катились по ее и без того размытому лицу, падали на кофточку, оставляя на ней серые полоски, потому как у этой девчонки глаза были излажены под японочку и краску слезами отъело. – Не реви ты, не реви! – бубнил сдавленным голосом Славик и даже тряс девушку за плечо, желая привести в чувство. – Ведь слово же давала! Не реветь буду... – Ла-адно-о, не бу... лады-но-о-о, – соглашалась девушка и захлебывалась слезами. – Во дают! – хохотнул блатняшка, чувствуя себя отторгнутым от компании. – Небось вплотную дружили... Мокнет теперь. Засвербило... Но Сергей Митрофанович не слушал его. Он наблюдал за Володей и барышней, и все больше жаль ему делалось Володю. Барышня притронулась крашеными губами к Володиной щеке: – Служи, Володя. Храни Родину... – и стояла, не зная, что делать, часто и нервно откидывала белые волосы за плечо. Володя, бросив на вторую полку руки, глядел в окно вагона. – Ты пиши мне, Вова, когда желание появится, – играя подведенными глазами, сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона: – Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!.. – Все! – разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо: – Все, парни! Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова подружка вдруг села на скамейку: – Я не пойду-у-у... – Ты ч??! Ты ч??! – коршуном налетел на нее Славик. – Позоришь, да?! Позоришь?.. – И пу-у-у-у-усть... – Обрюхатела! Точно! – ерзал за столиком блатняшка. – Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!.. – Доченька! Доченька! – потряс за плечо совсем ослабевшую девушку Сергей Митрофанович. – Пойди, милая, пойди, попрощайся ладом. А то потом жалеть будешь, проревешь дорогие-то минутки. Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона. "Во все времена повторяется одно и то же, одно и то же, – подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович. – Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы в казарму..." – Может, трахнем, пока нету стилиг? – предложил блатняшка и потер руки, изготавливаясь. – Выпьем, так все вместе, – отрезал Сергей Митрофанович. Поезд тронулся. Девчата шли следом за ним. Прибежал Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна. Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сеструха – с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала, кричала на ходу. Летела нарядной птичкой девушка в розовой кофточке, а Володина барышня немножко прошла рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахая рукою. Она не забывала при этом откидывать за плечо волосы натренированным движением головы. Дальше всех гналась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась. Она прыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать, она спотыкалась. Задохнувшись, с остановившимися, зачерненными краской, глазами, она все бежала, бежала и все пыталась поймать руку Славика. – Не бежи, упадешь! Не бежи, упадешь! – кричал он ей в окно. Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот. Славик мешком повис на окне. Спина его мальчишеская обвисла, руки вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму. Ребята сидели потерянные, смиренные, совсем не те, что были на вокзале. Даже блатняшка притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка. Жужжала электродуга под потолком. По вагону пошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Проехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рычков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы летел уже низко над землей с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу. Еська-Евсей не выдержал: – Славка! Слав!.. – потянул он товарища за штаны. – Так и будешь торчать до места назначения? Изворачиваясь шей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол за Сергея Митрофановича и натянул на ухо куртку. Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку вермута и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра: – Что ж вы, черти, приуныли?! На смерть разве едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. "Кота" я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу. – В самом деле! – зашевелился Еська-Евсей и потянул со Славика куртку. – Слав, ну ты ч?? Ребята! Человек же предлагает... Пожилой, без ноги... "Парень ты, парень! – глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. – Ничего, все перегорит, все пеплом обратится. Не то горе, что позади, а то, что впереди..." – Его не тронь пока, – сказал он Еське-Евсею и громче добавил, отыскавши измятый, уже треснутый с

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru
одного края, парафиновый стаканчик. – Пусть вам хороший старшина попадется! –
Постойте! – остановил его, очнувшись, Володя. – У нас ведь кружки, ложки, закусь
– все есть. Это мы на вокзале пофасонили, – усмехнулся он совсем трезво. –
Давайте как люди. Выпивали и разговаривали теперь как люди. Горе, пережитое при
расставании, сделало ребят проще, доступней. – Дайте и мне! – высунулся из угла
Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик
и снова спрятался в уголке, натянув на ухо куртку. Опять пристали ребята насчет
ноги. Дорожа их дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сергей
Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной танковой атакой противника в
лесу, не успели изготавиться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался на
гору, высокий, прикарпатский, сектор обстрела выпиливали во время боя. Два
расчета из батареи пилили, и два разворачивали гаубицы. С наблюдательного
пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были так толсты, а пилы
всего две, и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря
на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились и, наконец,
завопили: "Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!" Нельзя было вести огонь и на
пределе. Надо было свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Но на войне
часто приходится переступать через нельзя. Повели беглый огонь. Снаряд из того
орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло
опрокинувшейся от близкого разрыва кургузой гаубицей, а командира орудия,
стоявшего, поодаль, подняло и бросило на землю. Очнулся он уже в госпитале, без
ноги, оглохший, с отнявшимся языком. – Вот так и отвоевался я, ребята, – глухо
закончил Сергей Митрофанович. – Скажи, как бывает! А мы-то думали... – начал
Еська-Евсей. Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно таращился на
Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то
казалась еще больше. – А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?! – подхватил с
усмешкой Сергей Митрофанович. – А жена? Жена вас встретила нормально? – подал
голос Володя. – После ранения, я имею в виду. – А как же? Приехала за мной в
госпиталь, забрала. Все честь честью. Как же иначе-то? – Сергей Митрофанович
пристально поглядел на Володю. Большого ума не требовалось, чтоб догадаться,
почему парень задал такой вопрос. Ему-то и в голову не приходило, чтобы Паня не
приняла его. Да и в госпитале он не слышал чего-то о таких случаях. Самовары –
без рук, без ног инвалиды – и те ничего такого не говорили. Может, таились?
Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие там повествования о том, что
такая-то курва отказалась от такого-то мужа-калеки. Да не очень он вникал в
бабьи рассказы. В книжках читывал о том же, но книжка, что она? Бумага стерпит,
как говорится. – Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье.
Здорового – может, сгильнуть, если невтерпеж, – может, а калеку и сироту
спокинуть – нет! Потому как баба наша во веки веков – человек! И вы, молодцы,
худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, – обратился он к Славiku, – да она в
огонь и в воду за тобой... – Дайте я вас поцелую!.. – пьяненько взревел Славик и
притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по
голове, да не решился он это сделать, и лишь растроганно пробормотал: –
Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? – обратился он к Володе. –
Детишек в вагоне нету? – Нету, нету, – загалдели новобранцы. – Почти весь вагон
нашими занят. Давай, батя! По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович
догадался, что они его считают совсем уж захмелевшим и ждут, как он сейчас
затянет: "Ой, рябина, рябинушка" или "Я пулеметчиком родился и пулеметчиком
помру!". Он едва заметно улыбнулся, погладев сбоку на парней, и мягко начал
грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку на морозе и ветру,
где он был ротным запевалой. Ясным ли днем, Или ночью угрюмою...
Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды – все это разом стерлось с лиц
парней. Замешательство, пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на
них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович
повел дальше: Все о тебе я мечтаю и думаю... На этом месте он полуприкрыл
глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть
ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на
натянутой какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил
вступление: Кто-то тебя приласкает? Кто-то тебя приголубит? М-милый своей
назовет?... Стучали разбежавшиеся колеса, припадая на одну ногу, жужжало над
крышей вагона, и в голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без ложености,
угадывался весь характер, вся его душа – приветная и уступчивая. Он давал
рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных
закоулков. Полуприщуренный взгляд его, смягченный временем, усталостью и тем
пониманием жизни, которое дается людям, познавшим ожесточение и смерть,
пробуждал в людях светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь житейских
будней. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноком, ощущал
потребность в братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то. Не было

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru уже перед ребятами инвалида с осиновой деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его молодежовому лицу, и руки в царапинах и темных проколах – уже не замечались. Молодой, бравый командир орудия, с орденами и медалями на груди виделся ребятам. Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и в мотиве, видел себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не только за песни, а и за покладистый характер. Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича, изумлялись, думали о том, что надо бы с таким голосом и умением петь ему не здесь. Они бывали в оперном театре своего города, слышали там перестарок-женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Иные артисты не имели вовсе никаких способностей к пению, но как-то попали в оперу и зарабатывали себе хлеб, хотя зарабатывать его им надо было совсем в другом месте. Но в искусстве, как в солдатской бане, – пустых скамеек не бывает! Вот и поет где-то вместо Сергея Митрофановича безголосый, тугой на ухо человек. Он же все, что дармово, не трудом добыто, ценить не научен, стыдливо относится к дару своему и поет, когда сердце просит или когда людям край подходит и они нуждаются в песне больше, чем в хлебе, поет, не закабалия своего дара и не забавляясь им. Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет?! Только случай, только слепая удача зачерпнет иной раз из моря русских талантов одну-другую каплю... Незадолго до того, как погибнуть расчету Сергея Митрофановича, по гаубичной батарее шарился лейтенантик с бакенбардами – искал таланты. В сорок четвертом году войско наше уже набрало силу – подпятило немцев к границе, и все большие соединения начали обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры проходили. Попал на смотри Сергей Митрофанович, тогда еще просто Сергей, просто товарищ сержант, прошедший служебную лестницу от хоботного до хозяина орудия. Смотри проводился в западноукраинском большом селе, в церкви, утонувшей в черных тополях, старых грушах и ореховых деревьях. На передней скамье сидели генералы и полковники. Среди них был и командир бригады, в которой воевал Сергей Митрофанович. Когда сержант в начищенных сапогах напряженно вышел к алтарю, командир бригады что-то шепнул на ухо командующему корпусом. Тот важно кивнул в ответ и с интересом поглядел на молодецкого вида сержанта с двумя орденами Славы и медалями на груди. Сергей Митрофанович пел хуже, чем при своих солдатах, очень уж волновался – народу много набилось в церковь, и голос гулко, ровно бы в доте, разносился под сводами церкви. Однако после популярных фронтовых песенок: "Встретились ребята в лазарете, койки рядом, но привстать нельзя, оба молодые, оба Пети..." или "Потеряю я свою кубанку со своей удалой головой", после всех этих песенок его "Ясным ли днем..." прозвучала так неожиданно, так всех растрогала, что сам командир корпуса, а следом за ним генералы и полковники хлопали, не жалея ладоней. "Поздравляю! Поздравляю!" – тоже хлопая и птясь в алтарь, восторженно частил лейтенантик с бакенбардами, главный заводила всего этого смотра фронтовых талантов. Быть бы в корпусном ансамбле Сергею Митрофановичу, быть бы с ногой, быть бы живу-здорову, детишек иметь и не таскаться на врачебные комиссии, работать бы ему по специальности, а не пилоправом. Да к массовому культурному мероприятию высшее начальство решило приурочить еще мероприятие воспитательное: в обеденный перерыв на площади возле церкви вешали человека – тайного агента гестапо, как было оповещено с паперти тем же лейтенантом с бакенбардами. Народ запрудил площадь. Гражданские и военные перемешались меж собою. Большинству фронтовиков-окопников не доводилось видеть, как вешают людей – суды и расправы свершались позади них, на отвоеванной земле. Зафыркал ЗИС, новый, маскировочно покрашенный в зеленые полосы. Народ пугливо расступился перед радиатором машины, целившейся под старую срубленную грушу, на которой осталась макушка с плодами и толстый сук. К суку привязана веревочная петля. Поднимались люди на цыпочки, чтобы увидеть преступника, а главное – палача. Живых палачей Сергей Митрофанович тоже еще никогда не встречал. Предполагал, что выйдет сейчас из церкви, из густых деревьев волосатый, рукастый человек и совершит свое жестокое дело. И когда в машину, подпятившуюся кузовом под грушу, запрыгнул молодой парень в перешитых на узкий носок кирзовых сапогах, в несопременней от пота гимнастерке с белым подворотничком и со значком на клапане кармашка, он все еще ждал, что вот сейчас появится палач, какого он не единожды видел в кино, узколобый, с медвежьими глазами, в красной рубахе до пят. Парень тем временем открыл задний борт машины. Площадь колыхнулась. Возле кабины, затиснувшись в уголок кузова, сидел клочковато бритый мужичонка в ватных штанах, в телогрейке, надетой на нижнюю рубаху, в незашнурованных солдатских ботинках на босу ногу. "Вот он! Вот он, гад! Шоб тоби... Ах ты, душегуб!.." "Где он? где он?" – бегал глазами Сергей Митрофанович, отыскивая агента гестапо в немецкой форме,

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru

надменного, с вызовом глядящего на толпу. Как-то из подбитого танка взяли артиллеристы раненого командира машины, с тремя крестами на черном обгорелом мундире. Голова его тоже вроде как обгорела, лохматая, рыжая. Он пнул нашу медсестру, пытавшуюся его перевязать. Тайный агент гестапо в понятии Сергея Митрофановича должен был выглядеть куда большим злодеем и громилой, чем эсэсовец-танкист. Военный парнишка в кузове вел себя хозяйственно. Он, перевалившись через борт, командовал шоферу, показывая рукою: "Еще! Еще! Еще! Стоп!" – и навис над мужичонкой, что-то коротко приказал ему. Тот попытался подняться и не смог. Тогда парень подхватил его под мышки, притиснул спиной к кабине и, придерживая коленом под живот, попытался надеть на него петлю. Веревка оказалась короткой и налазила только на макушку. Мужичонка все утягивал шею в плечи, и тогда парень задрал рукою его подбородок, как задирают морду коню перед тем, как всунуть в его хруп железные удила. Веревка все равно не доставала. Унялась, замерла площадь. Перестали кричать цивильные, а у военных на лицах замешательство, неловкость. Парень быстро сообразил, что надо делать. Он пододвинул к себе ногой канистру и велел преступнику влезть на нее. Тот долго взбирался на плашмя лежавшую канистру, будто была она крутым, обвальным утесом, а забравшись, качнулся на ней и чуть не упал. Парень подхватил его, и кто-то из цивильных злорадно выдохнул: – Ишь, б..., не стоит!.. Как сам вешал!.. Надев на осужденного петлю, парень пригрозил ему пальцем, чтоб стоял как положено, и выпрыгнул из машины. Тайный агент гестапо остался в кузове один. Он стоял теперь как положено, может быть, надеясь в последние минуты своим покорством и послушанием умиловить судьбу. Первый раз он обвел площадь взглядом, затуманенным, стылым, и во взгляде этом Сергей Митрофанович явственно прочел: "Неужели все это правда, люди?!" – Нэ нравиться? А чоловіка мого... Цэ як? Гэ-эть, подлюга, який смірненький! Бачь, який жалкенький! – закричала женщина рядом с Сергеем Митрофановичем, и ему показалось, что она обороняется от подступающей к сердцу жалости. Началось оглашение приговора. Сморчок этот мужичок выдал много наших окруженцев и партизан, указал семьи коммунистов, предал комсомольцев, сам допрашивал и карал людей из этого и окрестных сел... Чем дальше читали приговор, тем больший поднимался на площади ропот и плач. На крыльце церкви билась старуха-украинка, рвалась к машине: – Дытynu, дытynu-у-у мою отдай! И не понять было: он ли отнял у нее дитя, или же сам был ее дитем? И вообще трудно все понималось и воспринималось. Мужичок с провалившимися глазами, в одежке, собранной наспех, для казни, ничтожный, жалкий, и те факты, которые раздавались на площади в радиоусилителе, – все это не укладывалось в голове. Чувство тяжелой неотвратимости надвигалось на людей, которые и хотели, но не могли уйти с площади. Сергей Митрофанович начал сворачивать сигарку, а затем протянул кисет заряжающему из его расчета Прокопьеву, который приехал на смотр с чечеткой-бабочкой. Пока они закуривали – все и свершилось. Сергей Митрофанович слышал, как зарычала машина, завизжал кто-то зарезанно, заголосили и отвернулись от виселицы бабы. Машина как будто ошупью, неуверенно двинулась вперед. Осужденный схватился за петлю, глаза его расширились на вскрике, кузов начал уползать из-под его ног, а он цеплялся за кузов ногами, носками ботинок – искал опоры. Машина рванулась, и осужденный заперебирал ногами в последней судорожной попытке удержаться на земле. Маятником качнулся он, сорвавшись с досок. Груша дрогнула, сук изогнулся, и все поймали взглядом этот сук. Он выдержал. Только сыпанулись сверху плоды. Ударяясь о ствол дерева и о голову дергающегося человека, упали груши на старый бульжник и разбились кляксами... Ни командир орудия, ни заряжающий обедать не смогли. И вообще у корпусной кухни народу оказалось не густо, хотя от нее разносило по округе вкусные запахи. Военные молча курили, а гражданские все куда-то попрятались. – Что ж, товарищ сержант, потопали, пожалуй, до дому, – предложил Прокопьев, когда они накурились до одури. – А чечетка? Тебе ж еще чечетку бить, – не сразу отозвался Сергей Митрофанович. – Бог с ней, с чечеткой, – махнул рукой Прокопьев. – Наше дело не танцы танцевать... – Пойдем, скажемся. Они поднялись в гору, к церкви. Повешенный обмочился. Говорят, так бывает со всеми повешенными. На бульжник натекла лужица, из штанин капало. Оба незашнурованных ботинка почти спали с худых грязных ног, и казалось, что человек балуется, раскручиваясь на веревке то передом, то задом, и ботинки эти он сейчас как запустит с ног по-мальчишески... Все казалось понарошку. Только на душе было муторно, поташнивало, и скорее хотелось на передовую, к себе в батарею. Лейтенант с бакенбардами взвыл, театрально воздевая руки к ангелам, нарисованным под куполом церкви, когда артиллеристы явились в алтарь и стали проситься "домой". – Испортили! Все испортили! Никто не хочет петь и плясать! Из кого, скажите на милость, из кого создавать ансамбль?! – Это уж дело ваше, – угрюмо заметил Сергей Митрофанович. И уже настойчивей добавил: – Наше дело – доложиться. Извиняйте, товарищ лейтенант... Лейтенант понимающе глянул на артиллериста и покачал головой. – Как жаль! Как жаль... С таким голосом... Может,

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru подумаете, а? Если надумаете, позвоните – уже вдогонку крикнул лейтенант. Артиллеристы поскорее подались из церкви: тут, чего доброго, и застопорят. Скажет генерал: "Приказываю!" – и запоешь, не пикнешь. На последнем вздохе кто-то из военных тоскливо кричал про черные ресницы и черные глаза. К вечеру на попутных машинах они добрались до передовой и ночью явились на батарею. – Не забрали! – обрадовался командир батареи. – А мы бы и не пошли, – заверил его хитрый Прокопьев. – Правильно! Самим нужны! Где-то тут ужин оставался в котелке? Эй, Горячих! – дернул командир батареи за ногу храпевшего денщика. – Дрыхнешь, в душу тебя и в печенки, а тут ребята прибыли, голодные, с искусства... Отлегло. Дома, опять дома, и ничего не было, никаких смотров, песен – ничего-ничего. ..Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну ногу. Солдат-инвалид сидел в той же позе, вытянув деревяшку под столик, и руки в заусеницах и царапинах, совсем не похожие на его голос, покоились все так же, меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко. – Да-а! – протянул Еська-Евсей и тряхнул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают. Заметив, что в разговор собирается вступить блатняшка и заранее зная, чего он скажет: "У нас, между прочим, в тюрьге один кореш тоже законно пел, про разлуку и про любовь", – Сергей Митрофанович хлопнул себя ладонями по коленям: – Что ж, молодцы. – Он глянул в окно, зашевелился, вынимая деревяшку из-под стола. – Я ведь подъезжаю, – и застенчиво улыбнулся: – С песнями да разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться. – Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, почувствовал, как тянет полу пиджака, схватился: – У меня ведь еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше не хочу. – Он полез за бутылкой, но Славик проворно высунулся из угла и придержал его руку; – Не надо! У нас есть. И деньги есть, и вино. Лучше попотчуйте жену. – Дело ваше. Только ведь я... – Нет-нет, спасибо, – придержал Славика Володя. – Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина. – Худых не держим, – простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настроение, добавил: – В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: "Ить я какой человек? Я вот пята жену додерживаю и единой не обиживал..." Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем следом. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник, а платформы не было. Сергей Митрофанович осторожно спустился с подножки, утвердился на притоптанной, мазутной земле, из которой выступал камешник, и, когда поезд, словно бы того и дожидавшийся, почти незаметно для глаза двинулся, он приподнял кепку: – Мирной вам службы, ребята! Они стояли тесно и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтаче, за станцией; вагоны один за другим уныривали в лес, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке, Сергей Митрофанович совсем уж тихо повторил: – Мирной вам службы! В глазах ребят он так и остался одинокий, на деревяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной его маленькая станция с тихим названием "Пихтовка". Станция и в самом деле была пихтовая. Пихты росли за станцией, в скверике, возле колодца, и даже в огороде одна подсеченная пихта стояла, а к ней привязан конь, сонный, губатый. Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладанным праздником. Попутных не попало, и все, хотя и привычные, но долгие для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному. Пихтовка оказалась сзади и пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спиленными макушками. Пихты там расплзлись вширь, сцепились ветвями. Прель и темень устоялась под ними. На вырубках взялся лес и давил собою ивняк, ягодники, бузину и другой пустырный чад. Осенью сорок пятого по этим вырубкам лесок только-только поднимался, елани были еще всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусничкой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. На стогах раскаленными жестянками краснели листья, кинутые ветром. Осень тогда поярче нынешней выдалась. Небо голубее, просторней было, даль солнечно светилась, понизу будто весенним дымком все подернулось. А может быть, все нарядней, ярче и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталю, с войны, домой. Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравышка. Год провалявшись на койке с отшибленными памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что не будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся. Увидел в зарослях опушки бодяк, долго стоял, вспоминая его, колючий, нахально цветущий, и не вспомнил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, осот, бородавник, пегуовичник, крестовник, яковку, череду – не вспомнил. Все они, видать, в его нынешнем

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru

понимании походили друг на друга, потому как цвели желтенько. И вдруг заблажил без заикания: – Кульбаба! Кульбаба! – и ринулся на костылях в чащу, запутался, упал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся. И, зашедшаяся от внутреннего плача, жена его подтвердила: – Кульбаба. Узнал?! – и сняла с его лица паутинку. Он еще не слышал паутинки на лице, запахов не слышал и был весь еще как дитя. Остановился подле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, краснеют ошметья объеда, а ягод нету? – Птички. Птички склевали, – пояснила Паяя. – П-п-птички! – просиял он. – Ры-рябчики? – Рябчики, дрозды, до рябины всякая птаха охоча, ты ведь знаешь? – З-знаю. "Ничего-то ты не знаешь!" – горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом госпиталя. Врач долго, терпеливо объяснял: какой уход требуется больному, что ему можно пить, есть, – и все время ровно бы оценивал Паню взглядом – запомнила ли она, а запомнивши, сможет ли обиходить ранбольного, как того требует медицина. Будто между прочим врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. "Да что горевать?! Дело молодое..." – зарделась она. "Очень жаль", – сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился. В пути от Пихтовки она все поняла, и слова врача, жестокое их значение – тут только и дошли до нее во всей полноте. Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. Склонился он над землей и показывал на крупную, седовато-черную ягоду, с нагловатым вызовом расположенную в мясистой сердцевине листьев. – В-вороний глаз? – Вороний глаз, – послушно подтвердила она. – А это вот заячья ягодка, майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли? Он наморщил лоб, напрягся, на лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контуженная память устала, перегружена уже впечатлениями, и заторопила его. В речке он напал на черемуху, хватал ее горстями, измазал рот. – С-сладко! – Выстоялась. Как же ей несладкой быть? Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислото, ни горького не различал. Пяне неведомо, что это такое. И мало кому ведомо. Еще раз, но уже молча он показал ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила: – Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмелью сырость надо. Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху. На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, неназойливо голубело. Было очень тихо, ясно, но предчувствие заморозков угадывалось в этой, размазанной по небу, белесости и в особенной, какой-то призрачно-светлой тишине. Ближе к поселку Сергей ничего уже не выпрашивал. Он суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его словно бы подтаяло, и на губе выступил немощный, мелкий пот. Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернились, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступил к поселку. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымил наполовину изгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа. – М-мама? – повернулся Сергей к Пяне. И она заторопилась: – Мама ждет нас. Все гляденья, поди, проглядела! Давай я тебе помогу в гору-то. Давай-давай!.. Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула и по улице они шли рядом, как полагается. – Красавец ты наш ненаглядный! – заголосила Панина мать. – Да чего же они с тобой сделали, ироды ерманские-е?! – и копной вальнула на крыльцо. Зятя она любила не меньше, но показывала, что любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении, и походил на блеклый картофельный росток из подпола. – Так и будете теперича? Одна – сидеть, другой – стоять? – прикрикнула Паня. Панина мать расцеловала Сережу увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась: – Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь... – и у нее заплясали губы. – Да не клеви ты мне солдата! – уже с привычной домашней снисходительностью усмехнулась Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, который у них существовал до войны. Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны. Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пихты, насеянные сосны и лиственницы. Они уже начинали давить собой густой и хилый осинник и березник. Только липы не давали угнетать себя. Вперегонки с хвойником, настойчиво тянулись они ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали. И стогов на вырубках поубавилось – позаросли покосы. Но согры затыгивало трудно. Лесишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться. По

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru

Косогорам испекло инеем поздние грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. Лишь поганки не поддались инею, пестрели шляпками во мху и в траве. В озеринки падала прихваченная черемуха и рябина, булькала в воде негромко, но густо. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубь. Через какое-то время снова начнется заготовка леса вокруг Пихтовки, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей и открыли артель по производству мочала и фанеры. Сергей Митрофанович работал пилоправом, Паня – в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова. Он свернул с разъезженной дороги на тропу и пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захламили ее, а на стеклозаводе, что приник к Каравайке, столько дерьма спускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в ней бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых уж плодятся – только им тут и способно. Неподалеку от поселка прудок, в нем мочат липовые лубья. Вонь все лето. К осени лубья повытаскивали, мочало отодрали – оно выветривается на подставах. Прудок илист, ядовито-зелен, даже водомеры не бегают по нему. Тропинка запетляла от речки по пригорку, к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось – поет женщина, но когда он поднялся к огородам, различил – поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел. Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе о том, что он видел, что думал, но сквозь его бесхитростные, такие простые детские думы просачивалась очень уж древняя печаль. Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании его была неподдельная искренность, детская доверчивость и любовь к его чистому, еще незахвачанному миру. – Ах ты, парнишечка! – шевелил губами Сергей Митрофанович. – Из каких же ты земель? – Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое, накличет он на себя беду. И Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет помочь маленькому человеку. Сергей Митрофанович не знал, что мальчишке уже ничем не можешь. Он вырос и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией на коротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекущей памяти людей. Радио на клубе заговорило словами, а Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно винился перед певуном-парнишкой, перед теми ребятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом, с любимыми и близкими людьми. Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорей всего получалось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война это последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не поумнели. Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопникам сил – тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь. Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает. Оттого и неспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой виноватости. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего он нес! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла-то она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили... "Но что ж ты, старый хрен, хотел, чтоб и они тоже гольшом ходили? Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей и клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее дал детям ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а какие-то подкидыши?.." До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая лукавого и глупого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его. Но память и совесть не выключишь. Вот если б все люди – от поселка, где делают фанеру, и до тех мест, где сотворяют атомные бомбы, всех детей на земле считали родными, да говорили бы с ними честно и прямо, не куражась, тогда и молодые не выламывались бы, глядишь, чтили бы как надо старших за правду и честность, а не за одни только раны, страдания и прокорм. "Корить – это проще простого. Они вскормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить, возьмутся, как мы, маскировать свою ущербину, свои недоделки и неполадки. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. Давить своей грузной жизнью мальчика – ума большого не надо. Дорасти до того, чтобы дети уважали не только за хлеб, который мы им даем, – это

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru потруднее. И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же гордости хотим и сами же притужальник устраиваем!.." Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, со сбитым телом и руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела бабой – ух! Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались, и женская мудрость, нажитая разлукой и горестями, сняла с них блеск горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые вперекос всем женским понятиям о красоте, шли ей. По-прежнему крепко сбитая, без надсадивости делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб. "Нарожала б ребятишек кучу, да мужик не мякиш попался бы..." Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хорошего – они переняли друг от друга, а худое постарались изжить. Мать Панина копалась в огороде, вырезала редьки, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Мать Панина постоянно роется в нем, чтобы доказать, что хлеб она ест не даром. – Да ты никак выпивши? – спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце. – Есть маленько, – виновато отозвался Сергей Митрофанович и впереди жены вошел в кухню. – С новобранцами повстречался, вот и... – Ну дак ч?? Выпил и выпил. Я ведь нич?... – Привет они тебе передавали. Все передавали, – сказал Сергей Митрофанович. – Это тебе, – сунул он пакетик Пане, – а это всем нам, – поставил он красивую бутылку на стол. – Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их едят ли? – Сама-то ты мыша! Пермяк – солены уши! – с улыбкой сказал Сергей Митрофанович. – Позови мать. Хотя постой, сам позову. – И, сникши головой, добавил: – Что-то мне сегодня... – Ты чего это? – быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза. – Разбередили тебя опять? Разбередили... – И заторопилась: – Я вот чего скажу: послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо? – Не в этом дело, – вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: – Мама! – и громче повторил: – Мама! – Ч? тебе? – недовольно откликнулась Панина мать и звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой в отвлекаться ей некогда. – Иди-ка в избу. Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попывала, и не только по праздникам. А теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала: – С каких это радостей? Втору группу дали? – На третьей оставили. – На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат... – Садись давай, не ворчи. – Есть когда мне рассиживаться! Овоци-те кто рыть будет? Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них. – Сколько там и овоци? Четыре редьки, десяток морковин! – сказала Паня. – Садись, приглашают дак. Панина мать побренчала рукомойником, подседа бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой: – Эко налепили на бутылку-те! Дорого небось? – Не дороже денег, – возразила Паня, давая укорот матери и поддерживая мужа в вольных его расходах. – Ску-усна-а-а! – сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и уже пристальной оглядела бутылку и стол. Губы Сергея Митрофановича тронула улыбка, он вспомнил, как новобранец на вокзале обсасывал сыр с пальца. – Ты ч? жмешша, Панька? – рассердилась Панина мать. – И где-то кружовник маринованный есть, огурчики. У нас все есть! – гордо воскликнула она и метнулась в подполье. После второй рюмки Панина мать сказала: – На меня не напасешша, – и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине. Сергей Митрофанович охмелел или устал шибко. Он сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка его, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а вот сердце все подмывало и подмывало. – Чего закручинился, артиллерист гвардейский? – убрав со стола лишнее, подседа к мужу Паня и обняла его. – Спел был хоть. Редко петь стал. А уж такой мне праздник, такой праздник... – Слушай! – открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их угадалась боль. – Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя? Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг: – Что ты?! Что ты?! Бог с тобой... – Вот так вот проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь. – Да не пугай ты меня-а-а! – Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его руку, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно. Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях,

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru цеплялась за непробритые щеки. "Шароховатые" – вспомнил он. Паня припала к его плечу: – Родной ты мой, единственный! Тебе, чтоб все были счастливые. Да как же устроишь такое? Он молчал, вспоминал ее молодую, придавленную виной. В родном селе подпутал ее старшина катера, с часами на руке, лишил девичества. Она так переживала! Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только там, в долгой разлуке, рассосалось все, и обида его оказалась столь махонькой и незначительной, что он после и сам себе удивлялся. Видно, в отдалении от жены и полюбил ее, да все открыться стыдился. "Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться! Или уж затаскали слово до того, что и произносить его срамно? Но жизнь-то всякий раз нова, и слово это всякому внове должно быть, если его произносить раз в жизни и не на ветер". – Старенькие мы с тобой становимся, – чувствуя под руками заострившиеся позвонки, сказал он. – Ну уж... – Старенькие, старенькие, – настаивал он и, отстранив легоню жену, попросил: – Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких, – и сам себя перебил: – Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребяташек. Едут где-то сейчас... Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями, а когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком. – Эко вас, окаянных! – заворчала Папина мать в сенях. – Все не намилуются. Ораву бы детишков, так некогда челомкаться-то стало бы! У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой, – ударила старуха и самое больное место. "Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? – хотела сказать Паня. – Детишки, они пока малы – хорошо, а потом, видишь вот, – отколупывать от сердца надо..." – Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо. Сергей Митрофанович зажал в горсть лицо и тихо, ровно бы для себя, запел: Соловьем залетным Юность пролетела... И с первых же слов, с первых звуков Паня дрогнула сердцем, заткнула рот платком. Она плакала и сама не понимала, почему плачет, и любила его в эти минуты так, что скажи он ей сейчас – пойди и прими смерть – и она пошла бы, и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце. Он пел, а Паня, не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, причитала про себя: "Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали их, окопы-те, хлебом заростили, а ты все тама, все тама..." И когда Сергей Митрофанович закончил песню, она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его побитым сединою волосам, по лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волосы на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что он и навечно будет с нею. – Захмелел я что-то, мать, совсем, – тихо сказал Сергей Митрофанович. – Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез. – Еще тую. Про нас с тобой. – А-а, про нас? Ну, давай про нас. Ясным ли днем, или ночью угрюмою... И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженных ребят, нарядную, зареванную девчущку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, только еще вступающих в жизнь, не умеющих защититься от разлук, горя и бед. Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать распевно и жалостно рассказывала в который уж раз: – В ансамблю его звали, в хор, а он, простофиля, не дал согласия. – Да и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить? – Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить каждый человек может, А талан Богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих... – И-и, голуба-Лизавета, талант у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано. – Мели! – Чего мели?! Чего мели?! Если уж никаких способностей нету, один талант – делать другим людям добро – все одно есть. Да вот пользуются этим талантом не все. Ой, не все! – И то правда. Вот у меня талант был – детей рожать... – Этих талантов у нас у всех излишек. – Не скажи. Вон Панька-то... – А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей?! – взъелась Панина мать. – Тиша, бабы, слушайте. Но песня уже кончилась. Просудачили ее старухи. Они подождали еще, позевали и, которые крестясь, а которые просто так, разошлись по домам. На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки и прудка, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Он начал пятнать огороды, отаву на покосах, крыши домов. Покорно стояли недвижимые леса, и цепенел на них последний лист. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми звездами. Такие звезды бывают лишь осенью, вызревшие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадывали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв собою. 1966–1967

Астафьев Виктор Петрович Ясным ли днем astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!